

МАДИНА МАЛИКОВА



КОГДА ЛУНА НА УЩЕРБЕ

РАССКАЗ

Почему все время вспоминается он? Вначале Дания не думала о причинах. В тихие часы жизни, когда размышляешь о прошлом и будущем — бывают же такие минуты в нашей быстротекущей жизни! — особенно когда слушаешь песни или читаешь стихи, во время легкой грусти, вдруг перед глазами встает он. Его печальное лицо, осанка, манера говорить, чуть выгнув шею, дрожание век вырисовываются настолько четко, что Дании кажется, точно она видела его только вчера, нет, даже сегодня, всего несколько часов назад. Его глаза смотрят, словно требуют ответа, и год от года выдерживать этот взгляд становится все тяжелее. В душе поднимается раскаяние, сожаление, и тогда Дании кажется, что между ними много общего. И это чувство с годами усиливается.

Но разве виновата Дания перед ним? Что общего может быть в их судьбах? К тому же столько времени прошло, столько новых встреч, что он давно должен был забыть.

Нет, не забывается, а при каждом воспоминании заставляет сжиматься сердце. Порой Дания думает о нем как о родном. Окажись возможность, она съездила бы к нему, несмотря на расстояние, или уж в крайнем случае написала бы. Увы! Он там, куда не доходят письма и провозажают лишь в последний раз...

МАЛИКОВА Мадина родилась в 1935 году. В 1959 году окончила историко-филологический факультет Казанского педагогического института, более 20 лет работала в женском журнале "Азат хатын". Прозаик, драматург. Член Союза писателей с 1972 года. Автор 25 книг, 4 из них изданы на русском языке в Москве. Заслуженный работник культуры России и Татарстана.

По роду службы Дании часто приходится ездить, встречаться со многими людьми: она работает в научно-исследовательском институте, собирает несметные богатства народного языка.

Однажды зимой она очутилась в городе Уральске, где прошла юность Тукая, где поэт написал свои первые стихотворения. Хотя это и не относилось непосредственно к ее научной работе, Дания не могла уехать, не побывав в местах, связанных с именем поэта. На тихой улочке, занесенной снегом, отыскала дом Усмановых, где жил молодой поэт, — первый этаж каменный, второй деревянный. Зашла в типографию, которой присвоили имя Тукая. Директор — миловидная русская женщина в летах — с гордостью показала печатный станок начала века. Станок до сих пор работает, печатает сочинения наших современников — внуков Тукая. Ох, коротка, оказывается, жизнь человека, одна машина скольким поколениям людей служит! Служит, но рассказать ничего не может — языка-то нет.

Дания побывала в доме Мутыгулла-хазрета* — первого учителя Тукая, в двухэтажном здании из красного кирпича. По узкой лестнице поднялась на второй этаж и остановилась в темном коридоре, не зная, в какую из дверей толкнуться: видно, здесь живет несколько семей. Прошла вглубь коридора и постучалась. Дверь открыл татарин старших лет. Но он впервые узнал от нее, что в начале жизни у хозяина дома великий поэт брал уроки...

Дании хотелось встретиться с людьми, видевшими поэта, знавшими его. Казалось, что тут невозможного? Разве мало семидесяти-восьмидесятилетних стариков?

Наконец в одной организации ей посоветовали:

— Поговорите с Адамом Соломоновичем! Он очень любит поэзию, все время вспоминает поэта по имени Тукай. Он знает, знает! Нет такого, чего б он не знал!

В этих словах наряду с уважением и восхищением Адамом Соломоновичем сквозила насмешка, намек на его причуды. Эта двойственность еще больше разожгла любопытство Дании. Адам Соломонович? Кто он? Русский, еврей? Почему увлекается Тукаем? Видно, неспроста все это.

Спросить прямо о его национальности Дания сочла неудобным. Но из разговоров узнала: всю жизнь Адам Соломонович проработал в этой организации; и хотя ему было уже к восьмидесяти, его не хотели отпускать, и только после настойчивых просьб его недавно проводили с почетом на пенсию, или, мягко говоря, на заслуженный отдых.

Бумажка с адресом привела Данию на старую тихую улицу.

Она, казалось, осталась в стороне от современной кипучей жизни. По обе стороны за крепкими заборами прятались добротные дома, серые столбы дыма из труб поднимались в бледно-голубое небо, по два ряда деревьев с каждой стороны улицы, сизые тени на белом снегу, казалось, из века в век не менялись. Слово эта улочка была такой, когда по ней быстрым шагом проходил поэт; снег, скрипевший под его ногами, был чист, точно окна, вымытые прилежными молодухами; звенел прозрачный зимний воздух. Возможно, глядя на такие дома, поэт и написал: “Что ты спишь, мужичок?”

Медленно, как и тогда, бледная ущербная луна, не считаясь со временем, восходила на небосклоне, не дожидаясь, пока солнце уйдет на покой...

Кирпичный дом Адама Соломоновича выходил фасадом на улицу. Дания постучала в ворота — никто не отозвался, постучала в окно, но и в доме стояла тишина. Растерянная, она вошла во двор.

— Что вы тут делаете? Кто вам нужен? — раздалось за спиной.

Дания вздрогнула и оглянулась.

К ней шел человек высокого роста, прямой и стройный. Ушанка низко опущена на лоб, руки глубоко заправлены в карманы короткой черной шубы.

— Ищу Адама Соломоновича, — ответила Дания, от неожиданности несколько смутившись.

— Это я.

* Хазрет — преосвященство, преподобие — титул, прибавляемый к именам священнослужителей.

— Вы?

Незнакомец показался ей мужчиной средних лет. Не очень поверив, что перед ней восьмидесятилетний старик, она изложила цель визита.

— Идемте, — произнес старик так, как говорит учитель с учеником. Дания прошла через сени и вошла в темную переднюю. Старик открыл дверь комнаты и на чистом татарском языке пригласил:

— Добро пожаловать!

— А я удивляюсь: почему Адам, почему Соломонович?

— Меня зовут Адхэм-абый.

— Сулейманович?

— Да, сын Сулеймана. Снимайте пальто. Давайте я повешу на вешалку. Дания обрадовалась: значит, ее поиски не напрасны. Она взглядом обвела комнату.

Только что на улице, несмотря на приближение вечера, было светло, весь мир был чист и уютен. В темной передней Дания словно перешагнула через то место, где день соприкасался с ночью, свет — с тьмой; здесь царил беспорядок, неуют, запущенность. Печь давно не белили, обои местами свисали полотенцами, пол черный, в углах паутина. Со всех сторон выглядывала безнадежность, желтая тоска...

Дания удивленно оглянулась и... не узнала Адхэм-абый. Вместо симпатичного мужчины средних лет теперь на нее смотрел голубыми глазами из-под красных век, с редкими и белыми, как гусиный пух, волосами худой дед. Миловидность, крепость, решительность он будто снял вместе с ушанкой и шубой и повесил у двери.

— Проходите, садитесь, — кивнул он на табурет у стола. Сам сел напротив Дании, сложив тяжелые костлявые руки на клеенке, покрывавшей стол, вытянул шею. — Мне не пришлось видеть Тукая, — произнес он тихо, но твердо, не оставляя места для сомнений. — Мы учились в разных медресе*. Не могу утверждать того, чего не было. Не видел, значит, не видел.

Дания сделала движение, чтоб встать. Других вопросов к этому человеку у нее не было. Адхэм-абый, подняв голову, потянулся к ней и как-то тихо, доверительно произнес:

— Но я его очень люблю. Жить не могу без его стихов.

Очень хорошо, но какой смысл приезжать в Уральск, чтобы найти человека, любящего Тукая? Дания сама и ее мать любят Тукая. И вообще, есть ли на свете татарин, который не любил бы Тукая?

Адхэм-абый тоже шевельнулся и твердым голосом, каким разговаривал во дворе, сказал:

— Погодите, не спешите! Сейчас поставлю чай. Разве можно отпустить без чая гостью, приехавшую из самой Казани!

Дания не хотела засиживаться. Она собиралась сегодня вечером в театр. Однако голос Адхэм-абый был так искренен, и вдобавок чувствовалось, что он хотел сказать что-то очень важное. Дания не могла противиться.

Он прошел на кухню, отгороженную досками, зажег керосинку, поставил чайник. Встав на табурет, с платяного шкафа снял трехлитровую банку с вареньем.

— Из собственной клубники. Сам варил, — сказал он. Потом из кухни вынес кусок пирога, завернутый в газету. — А это позавчера племянница принесла. Счастливой вы оказались, пришли, когда у меня достаток.

Пирог был черствым, варенье — несколько прокисшим. Но Дания не сетовала.

Адхэм-абый сел за стол, взял книгу и тихим голосом стал читать:

*Я теперь цвета предметов по-иному видеть стал.
Где ты, жизни половина? Юности цветок увял.
Если я теперь на небо жизни горестно смотрю,
Больше месяца не вижу, светит полная луна.
И с каким бы я порывом ни водил пером теперь,
Искры страсти не сверкают, и душа не зажжена.*

* Медресе — мусульманское духовное училище.

Дойдя до этого места, Адхэм-абый остановился, вытянул шею, испытующе и неловко посмотрел на Данию, будто вопрошая: не сердитесь ли за то, что читаю столь грустные стихи?

— Адхэм-абый, извините... Вы давно так... одиноко живете?

Сама не ведая, этим вопросом Дания разом открыла все створы души старика. Да, именно этот вопрос она должна была задать ему после строк Тукая. Поэт, ушедший в двадцать семь лет из жизни, написал свое стихотворение, обмакнув свое гениальное перо в горе, тоску, душевные чувства человека, состарившегося через долгие годы после его ухода...

В нескольких словах Адхэм-абый поведал историю своей жизни: два года тому назад его жена ушла в мир иной. А единственная дочь живет в Сибири с мужем и двумя детьми. Старик погладил книгу, словно говоря: про остальное можно прочесть здесь.

Дания вновь обвела комнату взглядом: в каждом углу гнездились сиротство и безнадежность. Чем темнее становилось за окном, тем сильнее чувствовалась заброшенность в доме...

— Вам надо жениться, Адхэм-абый. Покойницу не вернешь. Живой человек должен думать о жизни. Вдвоем вам будет жить легче.

Красные веки Адхэм-абия раскрылись настолько, насколько могли, и глаза уставились на Данию, словно желая проникнуть в ее душу. Она не поняла его, но видела: старика что-то угнетало.

— Или вы не можете найти по душе?

Адхэм-абый сделал движение, словно проглотил ком, опустил голову и тихо заговорил:

— Да я многого и не требую. Сам бы все делал: убирать в доме, вскипятить чай. В саду есть виноградник, сам ухаживаю за ним. Лишь бы было с кем словом перемолвиться, да и чаевничать вместе... Мне и этого достаточно. Будь рядом просто человек, теплее было б на душе.

— Ну так женитесь!

— Вот вы так говорите... А моя дочь думает иначе. Она передала через родных: мол, в моем возрасте и думать об этом неприлично. Возможно, и правда, неприлично...

— Старому человеку подруга очень нужна, Адхэм-абый! Заболеете, кто будет ухаживать, а расстроитесь, кто утешит? Зачем спрашивать у дочери?

— Так нельзя. Нельзя... Она ведь моя дочь. Если она против, это же ужасно!

Адхэм-абый посмотрел на нее с такой печалью и благородством, Дания даже вздрогнула.

— Ну что вы! Разве вы — первый?

— Вот вы вроде одного возраста с моей дочерью. Что бы вы сказали на ее месте?

Дания уже открыла рот: мол, скажу то же самое. Однако, взглянув в честные глаза Адхэм-абия, опустила голову.

Несколько лет тому назад умер отец Дании, мать осталась вдовой. Живет она с младшим сыном, помогает растить внуков. Если вдруг она заявит: “Выхожу замуж”, — разве это не покажется Дании смешным, странным, даже глупым? Дания даже представить не может, чтобы ее мать жила с чужим человеком! Нет, это невозможно, ее мать не изменит памяти отца!.. Да-да, многим такой поступок родителей может показаться изменой. Если Адхэм-абый приведет чужую старушку в свой дом, где родилась и выросла его дочь, — разве для нее не будет это изменой отца?

В молодости мы своей меркой измеряем и глубину чувств, и горечь печали. Но, старея, видим, что мерки-то совсем иные. Самые тяжкие невзгоды молодости нельзя сравнить с горем старости. Молодость считает себя вправе требовать любви, счастья, но лишает этого права старости, а старость, оказывается, бывает и стеснительной, и благородной.

— Может быть, мне написать вашей дочери и все объяснить? — спросила Дания.

— Нет-нет. Я с вами откровенен, потому что мы не знаем друг друга. А моя дочь может обидеться.

Адхэм-абый отвернулся, чтоб скрыть слезы. Потом он показал книгу в голубом переплете, которую все еще держал в руке:

— Не читают Тукая, не знают. Я ей послал книгу, в некоторых местах подчеркнул. А она, возможно, даже не открывала ее.

— Должна понять... Возможно, поймет еще, — проговорила Дания.

Когда она простилась со стариком, темнота уже окутала все вокруг. Ущербная луна пыталась светить, но навевала лишь печаль, ясней на душе не стало.

Дании вспомнились строки:

*Если я теперь на небо жизни горестно смотрю,
Больше месяца не вижу, светит полная луна.*

Конечно, это — не полная луна, а бледнолицая, ущербная, поблекшая луна на небосклоне Адхэм-абья!

Видит ли эту луну женщина в далеком сибирском городе, дочь Адхэм-абья?

Двое детей, муж, да, наверно, еще и работает. Когда ей интересоваться лунной? Ну вот, скажем, что она делает в эти минуты? После работы настоялась в очередях в магазинах и вернулась домой. Возможно, в детский сад за ребенком заходила. Впопыхах готовит ужин, ласкает детей, жалуется, что дел невпроворот. Но отними ты у нее эти заботы, освободи ее от этой кабалы, и дни для нее превратятся в желтую тоску. Однако найдется ли у нее время сесть, подумать об отце, прочесть книгу стихов, посланную отцом? Хватит ли у неё чуткости понять из подчеркнутого то, что хотел сказать ее бедный отец? Нет, наверно. Зря, видно, ждет Адхэм-абый...

Дания больше не видела Адхэм-абья. Примерно через месяц молодой ученый остановил ее в коридоре:

— Вам привет от Адхэм-абья!

— Вы его знаете?

— У меня родственники живут в Уральске.

— Он не женился?

— Я этим как-то не интересовался. Можно разузнать.

— Передайте от меня привет, пожалуйста!

Через несколько месяцев коллега вновь подошел к ней:

— Знаете, ведь Адхэм-абый умер.

— Что вы говорите! Вы не знаете, не женился ли он?

— Родные ответили: нет.

— От чего же он умер? Крепкий же еще был. Виноград выращивал. Выходит, не дождался в этом году ягод...

Ученый пожал плечами. Он не знал, от чего умер старик. Но Дания была уверена: не вынес одиночества. И она представила тот сиротливый дом, где из каждого угла выползала тоска. Был ли кто рядом, чтоб подать последний глоток воды?

С течением времени Дании стало казаться, что Адхэм-абый, сам того не сознавая, открыл ей тайну поэзии. Слушает ли она песни, читает ли стихи, душа ее веколыхнется, становится чуткой и восприимчивой. Словно в песне или стихотворении прячется человек, нуждающийся в помощи Дании, а возможно, просто в теплом слове, будто в них кроется тайна чьей-то души, которую так трудно поведать другим.

*Перевод с татарского Розы Фаткуллиной.
Стихи в переводе Анны Ахматовой.*